

Новая газ - 2000 - 31 июля - 6 авг - с. 15

В 1980 году один выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (ставший потом известным всему миру) уговорил меня написать инсценировку «Маугли». Сочиняли вместе. Пьеса «Джунгли» получилась очень жесткая, скорее в стиле жестоких баллад империалиста Киплинга, чем его сказок. Идея была очень простая и театральная (в смысле наглядности): Маугли — чужой. Голый для волков, потому что на нем нет шерсти. Голый для людей, потому что на нем нет одежды. Всем чужой.

Потом пьесу запретило Министерство культуры РСФСР. Внутреннюю рецензию (такие специальные советские художественные доклады) мне случилось прочитать: «Минкин пытается протолкнуть на сцену подлую идею, что звери лучше людей». Я обомлел настолько, что вступил с Министерством культуры в переписку, пытаясь объяснить, что «подлая идея» — это сказочный архетип всех времен и народов. Что и в русских сказках убить Иван-Царевича всегда стараются родные братья либо сестры, а спасают волки, птички, мышки. Понимания не нашел. Пьеса осталась под запретом. Но в провинции все было проще. И «Джунгли» тогда же поставили (всякий раз получая разрешение местного управления культуры) в Севастополе, в Свердловске, Минс-

ке... И ставят до сих пор, год назад была премьеры в Ярославском ТЮЗе. Но это все потом. А в 1980 году для жестокой инсценировки нужны были жестокие песни — зонги. И естественно, что лучше Высоцкого никто не мог их написать.

Я пришел к Высоцкому с пьесой в руках (мы были знакомы с 1966 года). Мы стояли у входа в театр. Поняв из первой фразы, что я пытаюсь заказать ему какие-то песни для какой-то пьесы, он сказал:

— Извините, не могу. Некогда.  
Я заранее знал, что он скорее всего откажется. Но раз уж встретились, грех не попытаться убедить, уговорить. И я стал объяснять идею. Вот ту самую, что для всех голый и всем чужой. Ушла минута. Высоцкий остановил:

— Вот видите, сколько времени вы у меня уже отняли!

Он сказал это с отчаянием, с такой болью в голосе, которая никак не соответствовала потраченной минуте. Но и продолжать уговоры стало невозможно.

Был июнь, солнце лупило — асфальт плавился. Кто же мог знать, что ему остался месяц. Но сам он, возможно, что-то чувствовал. И минута для него имела совсем другую цену, другой смысл...



# БЫЛОЕ И

Весной 1988 года в Ташкенте я занимался — опять! — проблемой хлопкоробства детей\*. Немногие свободные минуты проводил в театре у приятеля — главного режиссера Ташкентского ТЮЗа. Листая со скуки журнал «Театр», я наткнулся на текст, посвященный 50-летию Владимира Высоцкого. Очень эмоциональная заметка Михаила Ульянова. А слова знакомые. Показалось даже, что я где-то это слышал или читал...

В пятницу 25 июля 1980 года умер Высоцкий. Я узнал об этом в кабинете М. Швыдкого — ответственного секретаря «Театра». Чувства свои описывать не стану. Большого горя Советский Союз не испытывал — по крайней мере с 1953 года. Меня, внештатного корреспондента журнала, попросили заказать венки от редакции. Я, конечно, согласился. И дело святое, и возможность попасть на панихиду. (Понимал, что народу будет море и кордонов без счета — частному лицу не пробиться.)

28 июля — день Св. Владимира. Похороны. Прощание. Толпы. Оцепления (Олимпиада-80 в этот день осталась без охраны). Могила. Зарыли. Сразу гора цветов. Любимов не может подойти к могиле — не хочет наступить на цветы. Метров с пяти бросает к камню букет роз. Он странно раскачивает букет, как укачивают ребенка, потом выпускает из рук. Розы взлетают, летят к могиле и, долетев до камня, опускаются и встают, прислонившись к нему. Не упали. Даже не покосились. Так и руками не поставишь. Какая-то женщина, увидав это чудо, отдает Любимову свой букет. Я про себя думаю — повторить невозможно. Но все повторяется; и странное раскачивание, и точный полет цветов к камню...

Во вторник в «Театре» я говорю: мол, хорошо бы материал о В. В. Предлагаю без особой надежды — никто, кроме то ли «Вечерки», то ли «Совкультуры», не дал даже извещения, не то что некролога. Даже фрондирующий (по тем временам) «Московский комсомолец», посвятивший незадолго до этого чуть ли не целую полосу сломанной ноге Михаила Боярского, не дал ничего, ни слова. Их главный — в ответ на предложение напечатать некролог — сказал лаконично: «Меня это не интересует». Историческая фраза. В провинции многие больше месяца не знали о смерти В. В., узнавали случайно от тех, кто слушал «Голос Америки».

«Театр» принимает идею и поручает мне. Решение такое: текст от Любимова, от Ульянова и от Окуджавы. Окуджаву, конечно, сам напишет, а с Любимовым и Ульяновым я встречу, поговорю, запишу и — напишу. Естественно, не интервью, а их монологи («литзаписи» этот труд называется). Текст публикуется от имени великого человека, а твоя фамилия только в гонимой ведомости; да еще скажи спасибо за доверие).

Я уговариваю дать еще стихи Ахмадулиной «Твой случай таков...» и «Кони привередливые» — шедевр Высоцкого. В редакции мнут, отвечают неопределенно: «Делайте, посмотрим...» (Текст «Коней» написал на слух с пластинки.)

Встреча с Любимовым (на второй или на третий день после похорон). Кажется, я был единственным советским журналистом, который тогда взял интервью у него.

Любимов прочел стихи, которые написал на смерть В. В. Потом провозжал на служебный; шли под сценой; проходя мимо колокола (не помню, в

каком спектакле был колокольный звон), Любимов вдруг остановился, резко, сильно ударил в колокол, густой звон сразу заполнил трюм, мы молча пошли дальше; шел пятый день со дня смерти В. В., и было чувство, что Любимов звонил «туда».

Магнитофон у меня был советский, дрянный. Тянул еле-еле. Когда я пришел домой и хотел послушать слова Любимова, выяснилось — запись не сработала. Пусто. Шорох и треск. Я возненавидел писателя, у которого просил в этот день японский кассетник, объяснял ему — для чего, а он в ответ: «Я свой магнитофон никому не даю, независимо от обстоятельств».

(Спустя пять лет я нашел ту кассету — не знаю, почему не выбросил; вставил в магнитофон — шорох и треск. Я сидел, слушал шорох и вспоминал. Вдруг голос Любимова — тогда, в 1985-м, уже не сработала СССР, но еще и не израильянина — произнес: «Я прочту стихи. Может, это плохие стихи, их не надо печатать...» Прозвучали стихи. Дальше — тишина. Шорох. Это было еще одно чудо. Запись сработала на две минуты — точно для стихов Ю. П. — и опять сломалась.)

Потом созвонился с Ульяновым. Уговаривать, кажется, не пришлось. Он назначил встречу в Театре Вахтангова, в вечер «Антония и Клеопатры».

Приходите в такое-то часу, у меня большой перерыв между сценами. — Член ЦК КПСС. Занятый человек. Спасибо.

Сидел Антоний — в гриме, в costume, говорил о В. В. «Это был цветок нашей земли, нашего народа и нашего времени. Это был цветок, может быть, не обладающий роскошной внешностью, но он был одуряюще ароматен...»

...Окуджаву обещал написать несколько страничек, но...

— Я сейчас уезжаю из Москвы на месяц. Можете подождать?

— Конечно. Бог даст — журнал не передумает. А раньше, чем в такой-то номер, это все равно не пойдет. (Производственный цикл «Театра» был 4 месяца.)

Ахмадулиной сразу сказал, что шансов на публикацию немного. Она была в очередной опале и знала это. Но я просил ее не отказываться — кто знает, как там оно повернется... Ахмадулина согласилась:

— Ничего. Возьмите стихи — вдруг пригодятся.

«...Спасение в том, что сумели собраться на площадь Не собираем сброду,

бегущим глазеть на Нерона, А стройным собором собираешь,

отринувших пошлость. Народ невредим,

если боль о Певце всенародна...»

И от руки написала на листке чуть смягченный вариант одной строфы. Чтоб не напугать редакцию и цензуру Нероном.

«Спасение в том, что сумели собраться на площадь Не собираем сброду,

желающим пиши и зрелищ, А стройным собором собираешь,

отринувших пошлость. Пришельцы, дивитесь на невидаль,

видную здесь лишь».

Это даже трудно теперь вообразить, как всё было нелегко. Господи! Как же мы жили и не дошли?! И даже напротив! — иной раз удавалось Нерона вместе с его Главлитом одурочить, то есть убедить.

Еще через месяц позвонил Окуджаву.

— Да, вчера приехал. Статью не написал... Но получились стихи.

— Так это еще лучше!

Везу в редакцию автограф «Белый аист московский...» Музыки еще не было. Булат Шалвович еще не знал, что это песня.

И вот — гранки. Текст Любимова, текст Ульянова... «Коней привередливых» не набрали, и Ахмадулиной нет, хотя она и звонила:

— Знаете, меня можно печатать, меня, кажется, опять простили.

А еще через месяц в редакции «Театра»: — Саша, к сожалению, подборка о Высоцком слетела.

— Почему?! — Цензура...

Я не знал — верить или нет. Конечно, цензура могла снять, но что-то мне шептало: сами перепугались. Не знаю и теперь, кто тогда снял. Но в каком-то киножурнале что-то дали и в «Литгазете» месяца через два после смерти стиха В. В. напечатали — выходит, верховного абсолютного запрета не было.

— Пожалуйста, дайте гранки на память.

— Ну что вы! Это нельзя!

Еще через месяц в редакции «Театра» в самом непотребном месте (впрочем, это единственное место, где сотрудники не ввали) обнаруживаю порванные на квадратике гранки. Читаю: «...цветок нашей земли, нашего народа и нашего времени...»

Вот такое паскудное чудо. В глазах защипало, в горле спазм. Ушел. Что-то, кажется, кому-то сказал, уходя. Совсем не помню.

Ничего особенно нового я о людях не узнал. Но уж больно ярко высветились. Потом они незаметно пережили уход главреда А. Салынского, приход Г. Боровика (все нашли себя при столь ином шёфе) и опять приход Салынского. Направление журнала менялось, а находчивые сотрудники — нет. Казалось, в мире не может быть столько политического театра, сколько его обнаружил журнал «Театр» при Боровике.

И вот — 1988-й, Ташкент. И под именем Мих. Ульянова знакомые чем-то строчки

«...одуряюще ароматен. Он, как татарник, вцепился в сердце людей, барды, актеры, поэты. И вот — ушел...»

Да ведь это мой текст!..

Видите ли, говорит человек не гладко, сам себя перебивает, применяет мимику, жесты, непечатные слова (знаменитый киноактер Николай Крючков мне о своих концертах под Кустаном перед покорителями целины ни одного приличного слова не сказал — всё матом; и восторги, и хулу; а ничего — текст как-то слепился — можете почитать в «Театре» № 5 за 1979 год. Там я — и великая Гоголева, и Крючков, и Чирков, и еще кто-то из народных артистов СССР), поэтому человек, делающий литзаписи, все эти обрывки, меканье и беканье приводит в божеский вид. Я всегда старался вжиться в образ, писать как бы от их лица, чтобы их манеры, их стиль речи сколько-нибудь передать. В журнале хвалили (но и смеялись — стоит ли так мучиться?).

Так и тут: говорил Ульянов, а писал я. Поэтому называю: мой текст.

Вот, значит, когда цензура отступила от слов председателя СТД РСФСР — в 1988-м. А любимоковский текст? Где его гранки? Не исключено, что успели использовать. Или ждали обратной перемены гражданства и потеряли. Или берет у 100-летию В. В.

Я не жалею. Я ничего не потерял, а приобрел много.

У меня автограф Окуджавы. У меня автограф Беллы Ахмадулиной (с вариантом на обороте). У меня квадратик гранки с текстом Ульянова 1980 года и страничка с этим текстом из журнала, вышедшего всего через восемь лет.

У меня листок со стихами Любимова и кассета с его голосом.

И я рад за всех, кто может теперь мужественно брать интервью у Ю. П. и храбро снимать его на видео.

Духота, жара  
25-го в 4 утра  
Умер Владимир  
Полкнул мор.  
Он был безоглядно,  
То падал на дно,  
То вновь поднимался,  
Пред смертью метался.  
Рвал струны и сердце  
Усердно! Усердно!  
Крепче! Крепче!  
Все форто и форто.  
Сломалась аорта,  
И скороно у рта  
Техо складка легла.  
И люди пришли,  
Положили цветы,  
Раскрыли зонты,  
От жары берегли.  
И долго стояли,  
Как будто бы ждали его.  
И 9 дней все шло и шло,  
Давно уж не было такого!  
Он мертв. Не саван, дело шло.  
А хоронили в день Владимира Святого.

Это был цветок нашей земли, нашего народа и нашего времени. Это был цветок, может быть, не обладающий роскошной внешностью, но он был одуряюще ароматен. Он, как татарник, вцепился в сердце людей, которым нужна литература, барды, актеры, поэты. И вот — ушел. Потеря большая и невозполнимая. Говорят, незаменимых людей нет. Есть! Придут другие, но такая боль, такая мощь, такое сердце ушли от нас навсегда. Вечная память.

Михаил Ульянов

придумать хотел,  
о стихом не сходясь...  
белое небо взлетел,  
а черную землю спустился.

Автографы Ю. Любимова, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной и гранка с текстом М. Ульянова

6.08.2000  
Минин Александр

678